

ференциях в Париже отрезали у нас Белград и взяли Змеиный остров, мы все уступили большинству голосов, которое предвидели, а потому настаивали на собрании конференции, чтобы приличным образом уступить то, что требовали Англия и Австрия. Для нас сделано только то снисхождение, что эту уступку назвали и с п р а в л е н и е м г р а н и ц. Англичане за это обещают выйти из Черного моря, а Австрия — из княжеств<sup>27</sup>, но срок ими положительно не определен. Думаю, что они опять найдут какой-нибудь предлог остаться.

Общее впечатление, с которым я провожаю старый и встречаю Новый год, очень трудно передать. Нельзя сказать, чтобы прошедший год не оставил о себе памяти, в политической нашей истории он оставил одну из самых позорных страниц — это подведенный итог целого тридцатилетия, для внутренней же истории он может служить введением — небогатый замечательными фактами или важными административными и законодательными мерами, он, однако, ярко отличается от предшествующих годов, так перед наступлением весны бывают дни хотя еще холодные, но с весенним запахом, предвестником наступающей оттепели. Свободнее дышала Россия в этот год, этого никак отрицать нельзя. В воздухе слышится другая жизнь, другое направление, оконеченные члены оживают, чувствуется благотворная теплота. Пошли нам теперь, Господь, достойного путеводителя и направь все решающие силы на благо — вот молитва, с которой мы должны встречать наступающий Новый год.

## 1857 год

**16-го января.** Совершенно неожиданно я все эти дни был заполнен работой, независимо от моих служебных обязанностей. Вот по какому случаю досталась мне эта работа. На сих днях завтракал я у великой княгини Екатерины Михайловны по случаю рождения ее мужа, и за завтраком рядом со мной сидел князь Василий Андреевич Долгоруков. Он обратился ко мне с вопросом о том, что делается у нас в министерстве, заговорили о кантонистах и об указе, их освобождающем, потом вдруг Долгоруков спросил меня: «Что, Вы тоже прогрессист?». Я отвечал ему, что не понимаю, в каком смысле он разумеет этот вопрос, тогда он мне сказал: «Ну, одним словом, что Вы также желаете эмансипации». Я отвечал, что желаю и уверен, что все этого желают, но что этим вопрос не разрешается, потому что недостаточно желать, а надо знать, как это возможно сделать. Тут началась у нас речь о том, как ничего вдруг сделать нельзя, что нужны перекидные искры и тому подобные общие места. Но я заметил, что Долгоруков повел речь об этом предмете недаром и что что-нибудь да под этим кроется. Я заметил ему, что во всяком случае весьма было бы полезно нашим государственным людям ознакомиться и изучить все стороны важного вопроса, и я спросил его, читал ли он некоторые записки, которые ходили по рукам, о мерах к освобождению крестьян. При этом я указал на записку Самарина, которая, по моему мнению, подробнее, шире и глубже излагает предмет и объясняет его. Он отвечал мне, что ничего не читал, и

просил меня доставить ему записку Самарина. Я вызвался сам приехать к нему и прочитать те отрывки, которые особенно любопытны. Он с радостью принял мое предложение и назначил для сего день и час. Не знаю, говорил ли я прежде в своем дневнике о записке Самарина, она довольно велика, и я был уверен, что Долгоруков ее всю не прочтет, а ежели и начнет читать, то остановится на тех местах, которые слабее других и тем не выведет для себя никакого заключения. Поэтому я и вызвался сам читать, надеясь вместе с тем узнать и причину, почему Долгоруков заинтересовался этим вопросом. В назначенный день, в 9 часов утра, я явился к Долгорукову с рукописью; он ожидал меня, и мы расположились читать. Я вкратце, на словах, передал общую мысль автора, потом прочел некоторые отрывки. Среди чтения доложили о приезде Позена — меня предупредил Долгоруков, что он будет. Оказывается, что Позен приехал сюда с разными проектами и, между прочим, с проектом освобождения крестьян. Этот проект им был составлен ежели не по приказанию, то с ведома государя, а потому и представлен был государю, и сам Позен имел по этому случаю аудиенцию. Вследствие сего государь назначил Комитет, под своим председательством, из нескольких лиц, в нем, кроме Долгорукова, сидят: Блудов, Гагарин, Корф, Чевкин, Сухозанет, Ланской и, кажется, Брок. Все это делается под величайшим секретом, и Долгоруков ничего этого прямо мне не объявлял, но я узнал частью догадкой, частью от других. В этом Комитете должен был разбираться проект Позена, и вообще должна была быть речь о том, как приступить к эмансипации и нужна ли она. Позен, зная почти наизусть записку Самарина, очень хвалил ее, но о своем проекте говорил только намеками, так что я ничего хорошенько из слов его не понял, но, в общем, у меня осталось весьма невыгодное впечатление от этого господина, он больше говорил о финансах, о том, как теперь у нас финансы всему преграда, а что между тем нет ничего легче, как привести их в совершенный порядок. Мне постоянно казалось, что Позен смотрит на вопрос крепостной как на дверь в министерство, полагая, что этим вопросом он скорее заинтересует и его призовут исполнять придуманные им финансовые меры, связанные с этим вопросом. При общем нашем по этому вопросу разговоре я нашел то, что ожидал, т. е. что Долгоруков не смыслит в этом вопросе ровно ничего и что ему хочется схватить какие-нибудь верхушки, чтобы уметь что-нибудь сказать в Комитете. Он, видимо, не партизан<sup>28</sup> этого вопроса, но вынужден иметь мнение в пользу его. Я старался объяснить ему, как важно изучить этот вопрос во всех отношениях и как невозможно ожидать, чтобы люди непрактические и несведущие могли бы что-нибудь придумать дельное к его разрешению. Но что откладывать этот вопрос надолго невозможно, но всего хуже неопределенность желания правительства, она всех беспокоит и вреднее всяких крутых мер. Долгоруков просил меня оставить эту записку Самарина для прочтения, что я и сделал.

Два дня спустя после этой конференции был я опять у Долгорукова, и он стал просить меня, чтобы я сделал ему экстракт из двух записок — Самарина и Позена, чтобы при этом объяснить, в чем мнения этих господ сходятся и в чем расходятся, и при этом наложил бы также свое заключение. Для исполне-

ния сего Долгоруков дал мне записку Позена. Воротясь, я принялся за работу довольно трудную, потому что надо было изложить довольно кратко и так ясно, чтобы и неученый человек мог бы понять. Прочитав записку Позена, я удивился ее неосновательности и еще раз убедился в том, что Позен несерьезно занимался этим вопросом, что предложенные им меры, связанные с финансовым вопросом, казались ему потому хорошими, что никто, конечно, кроме него, не взялся бы приводить их в исполнение, да и сам он, конечно, ежели бы сделался министром финансов, отказался бы от своего проекта. Здесь не могу я подробно описать, в чем, собственно, заключается мнение Позена и в каком виде я изложил Долгорукову свои соображения. Скажу только, что я в заключение напирал на необходимость вызвать сюда, в С.-Петербург, тех помещиков, которые, подобно Самарину, занимались крепостным вопросом, и им поручить разработку тех приготовительных мер, на необходимость которых все указывают единогласно. По окончании этой разработки пусть каждая мера пройдет законодательным порядком через все установленные для сего инстанции, но что поручать чиновникам — какому-нибудь Буткову или 2-му Отделению<sup>29</sup> — составление законов с целью приготовительными мерами дойти до изменения крепостного права есть величайшая глупость и положительный вред. Я доказывал также, что Комитет под председательством государя может и должен решить только один вопрос, а именно: «время ли теперь приступить к какому-нибудь действию и, хотя косвенно, касаться крепостного права или нет». Засим, ежели Комитет решит, что время, — то действовать последовательно и поручить дело людям сведущим, а не департаментским чиновникам. Долгоруков уверял меня, что совершенно со мною согласен, но что призыв в Петербург Самарина и других лиц возбудит говор и набат в гостиных. «Ежели Вы этого боитесь, — отвечал я, — в таком случае, ради Бога, не начинайте ничего и не касайтесь вопроса — значит, время еще не пришло, ибо, ежели Вы будете бояться разговоров в петербургских салонах и, под впечатлением этих разговоров, будете делать шаг вперед и два назад, то это будет просто беда». Долгоруков обещал мне, по миновании надобности, возвратить мою записку, я не успел оставить у себя копии, а писал прямо набело, очень хотелось бы сохранить эту записку на память.

Несмотря на весь секрет, о существовании Комитета знают весьма многие. По-видимому, государь твердо желает что-нибудь сделать, кто поддерживал его в этом желании — неизвестно и непонятно, потому что из окружающих его нет, кажется, никого, кто бы серьезно занимался этим делом. Как будто бы нарочно для утверждения государя в мыслях, что надо что-нибудь сделать, случилось здесь, на сих днях, довольно замечательное происшествие. Вышел указ, разъясняющий канцелярский порядок относительно записи в Книгу Гражданских палат актов об увольнении крестьян в звание свободных хлебопашцев. Указ этот, как водится, был напечатан, но редакция его довольно непонятна, и главное — не видно повода, по которому он издан, так что читатель, не зная, в чем дело, действительно может толковать его, как хочет. Народ каким-то путем проведал, что есть и вышел новый закон о свободе, в один день было куплено в Сенатской лавке 600 экземпляров, и на другой день опять собралось много людей перед

лавкой, лавку закрыли, народ разошелся, но не разуверенный в том, что действительно есть указ о свободе. Этот случай, как и все подобные, свидетельствует только то одно, что народ продолжает жить и надеяться и что благоразумие требует ему уступить заблаговременно, но в той мере, в какой это возможно сделать добровольно. Очень смешно, что история этого несчастного указа обрушилась на директора Сенатской типографии, которого Панин, как второй Шемяка<sup>30</sup>, признал виновным в том, что он напечатал указ, на котором сам Панин собственноручно написал: «Обнародовать». Впрочем, я вполне убежден, что из существующего Комитета опять ровно ничего не выйдет. Люди, в нем сидящие, почти все, без исключения, ровно ничего не понимают в этом деле, а изучать вопрос серьезно им лень, да и некогда. Долгорукий, например, очень серьезно доказывал мне, что ему некогда заняться, потому что сегодня там бал, завтра обед и проч. и проч. ...

Боже мой, как поближе помотришь на этих государственных людей, то убедишься, что воображение бессильно представить все их ничтожество. Когда все это сообразишь, то убедишься, что не время подымать теперь какие-нибудь вопросы, невозможно представить, например, чтобы Ланской мог быть министром внутренних дел. Ну что с ним сделаешь... Ну где же ему думать и заниматься чем-нибудь дельным, это просто невозможно. Поэтому, действительно, ежели бы меня спросили по совести, следует ли теперь, при такой обстановке, поднимать вопросы даже второстепенной важности, я бы отвечал: «Нет, нельзя».

**27-го января.** Предчувствие мое оправдалось: все дело по возбужденному вопросу о крестьянах передано Буткову — это значит, вопрос похоронили. Бутков есть не государственный секретарь, а государственный гробовщик, вся его деятельность состоит в изготовлении более или менее красивых гробов для похорон всяких государственных мер и вопросов. Он исполняет в этом отношении обязанность свою с невозмутимым хладнокровием и спокойствием. Много на своем веку он схоронил важных и полезных мыслей, хорошо, ежели еще совсем похоронит, а то закопает в землю самую сущность дела, а частичку его пустит на белый свет, и от нее смердит надолго. Впрочем, я рад, что это дело ничем не кончилось, ибо более чем когда-либо убежден, что не вышло <бы> никакого толку, ежели бы продолжали заниматься этим вопросом, как начали. Дай Бог, чтобы все эти неловкие попытки остались бы без вредных последствий. На сих днях также внесен был Блудовым проект закона о неделимости имений свыше 100 душ, и этот проект также похоронили под самым нелепым предлогом. Нет, не наступило еще время для действий положительных, и когда-то наступит... неизвестно, и выждут ли события постепенного обращения нашего... Не дай Бог, чтобы вопросы воскресли сами собой и не застали бы нас врасплох.

Сегодня напечатан в газетах указ о железных дорогах — с нынешнего года приступит иностранная компания к работе, через 10 лет все линии должны быть готовы. Не мешало бы подумать о всех последствиях железных дорог и приготовиться к ним. Может ли страна, в которой будет 4 тысячи верст желез-

ных дорог в управлении министров, подобных Ланскому, Броку, Норову, Панину, Шереметеву и проч. ..., быть спокойной...

Сегодня в «Инвалиде»<sup>31</sup> напечатан рассказ об обеде, данном Ростовцеву, в честь 25-летнего юбилея его службы при военно-учебных заведениях, за обедом говорились речи, и, кроме того, напечатаны несколько писем камер-пажей к Ростовцеву с изъяснением невозможных чувствований. В речи профессора Шульгина, между прочим, помянуто, что Ростовцев был исполнителем царского слова и при этом сказано: «И слово плоть бысть и вселися в ны» — он, значит, полупьяный Шульгин, проповедует второе воплощение в лице Ростовцева, а камер-пажи написали на французском и русском, в стихах и в прозе, такие подлости, с таким непомерным цинизмом, что невольно публикация всех этих писем возбуждает негодование самых кротких людей. Конечно, правительство не может запретить никому подличать на словах, но в печати оно не должно этого допускать, ибо это оскорбляет чувство приличия. Так точно непотребные дамы терпимы правительством, но, не менее того, не дозволяют публичного разврата на улицах. Можно ли ожидать, чтобы молодые люди 17–18 лет, которые написали подобные письма, в которых нескрытая ложь соединяется с циничною подлостью, можно ли ожидать, чтобы несколько месяцев спустя эти молодые люди, надев эполеты, сделаются благородными людьми и верными слугами царя и Отечества..? Молодой человек, решившийся на публичную подлость, без сомнения, не устыдится быть явным вором и взяточником. Грустно то, что эти факты немногих поражают, к несчастью, общество уже привыкло к официальной лжи и не выражает никакого негодования.

**2-го февраля.** Вчера я получил из Москвы печальное известие, что Хомяков отчаянно болен, у него воспаление, и он, как закоренелый гомеопат, не хочет лечиться. К тому же он видел сон, что сегодня, т. е. 2-го февраля, во время всеобщей, он должен умереть, и совершенно приготовился к смерти. Это известие очень меня опечалило. Провидению угодно отнимать у нас одного за другим всех передовых мыслителей и людей с душою и талантами. В течение нескольких месяцев мы лишились двух братьев Киреевских, а теперь, быть может, и Хомякова нет на свете. В последний раз, когда я видел Хомякова, я, шутя говоря о его стихах, сказал, что, читая их, мне сделалось за него страшно, ибо мне показалось, что он каким-то чудом еще уцелел, когда все люди с естественным талантом у нас выбыли. Видно, мое опасение было справедливо.

**10-го (18-го???) февраля.** Опасения мои не оправдались, Хомякову лучше, и, говорят, он вне опасности. Слава Богу.

**28-го февраля.** Я на сих днях вернулся из деревни, куда ездил по хозяйственным делам. В Москве я застал последний день масленицы, пробыл сутки и, боясь постоянной оттепели, спешил добраться до места на санях. Поэтому я в Калуге пробыл только несколько часов. В деревне я нашел все, благодаря Богу, в порядке, новый мой управляющий, кажется, будет понимать дело, народ им доволен.

Пользуясь соседством Оптиной Пустыни, я там говел и исповедовался у отца Макария, который весьма замечательный человек и имеет не только в околотке, но и в дальних местах России большое влияние. К нему пишут из всех губерний разные лица и просят у него духовных назиданий. В этот раз я ближе с ним познакомился и понимаю теперь, в чем состоит сила его проповеди. Он далеко не красноречив и не имеет ничего особенно привлекательного, но сила его убеждения так велика, что почти магнетически действует на слушателей. Самые простые вещи, или так называемые общие места, получают в его устах особенную силу. То, что мы привыкли принимать за риторические фразы и фигуральные изображения мысли, в словах его отзывается чистой правдой. Например, после причастия я пил у него в келии чай, и он при этом стал мне говорить, какой ныне счастливый день, как много нынче приобщилось к Христу и как должны сегодня ангелы радоваться на небесах. Он говорил эти слова просто, но слышно было в его голосе и видно было в его глазах, что он действительно как бы сам созерцает и видит радующихся ангелов и самого Христа. Я вовсе не был в таком духовном настроении, чтобы отнести на счет моего воображения то впечатление, которое испытывал.

Проездом через Калугу я остановился там на сутки и по этому случаю, ближе познакомился с братом княгини Натальи Петровны Евгением Петровичем Оболенским, недавно прибывшим на жительство в Калугу из Сибири вследствие милостивого манифеста о несчастных 14-го декабря. Я прежде много слышал о нем хорошего, о его уме и душевных качествах, мне весьма любопытно было познакомиться с одним из самых ретивых участников во всей печальной истории того времени. Впечатление, произведенное на меня Евгением Петровичем, самое приятное. Я нашел в нем гораздо более хорошего, чем ожидал найти, его личность дала мне довольно верное понятие о людях того времени, об их стремлении и направлении, а рассказы Евгения Петровича представили мне все прошедшее в новом свете, гораздо более правдивом, чем как мы привыкли слышать из других источников. В сущности, печальная история 14-го декабря не имела почти ничего общего с теми тайными обществами, которые составлялись задолго заранее этого дня; почти случайно мирный характер этих обществ изменился в составе своем, и в начале цель и стремление общества были так благородны, что нельзя было им не сочувствовать. Из всех отдельных личностей, по-видимому, была личность Рылеева, с которым Евгений Петрович был в самых дружеских отношениях и о котором он, в виде воспоминаний, написал несколько трогательных и чрезвычайно любопытных страниц, в которых, между прочим, приписывает стихи Рылеева, написанные им в крепости, в виде послания к нему, Оболенскому. Также рассказаны последние минуты Рылеева и прекрасно изображено то духовное настроение, в котором Рылеев находился перед своей смертью. Он умер совершенным христианином-мучеником, я не мог без слез читать этот простой рассказ. Постараюсь со временем достать с него копию. В Петербурге я незадолго перед сим познакомился с другим товарищем Оболенского — И. И. Пуциным и нашел, что между ними очень много общего. Они поражают живостью, молодостью своих ощущений, горячим сочувствием ко всему

хорошему и благородному и какой-то особенной душевной трезвостью. Постигшее их несчастье застигло их молодыми, полными жизни, энергии и любви к добру. Все эти качества в людях, живущих среди общества, с годами сглаживаются, изменяются от впечатлений, ежедневно принимаемых невольно от общества. Они же, со времени их молодости, были удалены от общества и сохранились, как бы в безвоздушном пространстве, целы и невредимы, достигнув вместе с тем почти старческого возраста, и это невольно поражает нас, не привыкших в стариках встречать таких живых ощущений и благородных порывов. Судя по этим остаткам и представителям прежнего времени, нельзя не сознаться, что современное общество в нравственном отношении далеко пошло назад. В Калуге, как вообще теперь во всех провинциальных городах, много толкуют об эмансипации, самые пошлые и нелепые слухи повторяются — частью от безделья и частью от невежества. Впрочем, в Петербурге и в Москве разговоры по этому вопросу не менее нелепы. Правительству приписывают разные намерения, везде критикуют, ругают и приписывают небывалые распоряжения. Одни боятся, другие просто врут, сами не зная, чего желать, одним словом, понятия нашего общества до такой степени неразвиты, что никакой мудрец не выведет по оным никакого заключения. Не знаю, как в других местностях, но в Калуге народ совершенно спокоен. В Москве на обратном пути пробыл двое суток. В день возвращения в Петербург я подавился костью и жестоко страдал, но, к счастью, кость была невелика и сама прошла, хотя и опускали мне в горло зонд; вся мучительная боль происходила оттого, что она поцарапала пищеварительный канал.

**15-го марта.** На днях начались выборы дворянства, говорили, что ябургское дворянство хотело предложить на выборах что-то вроде инвентарей, но ему запретили. Кроме того, один из депутатов дворянства, которому было поручено обозрение по земским повинностям, прочел в собрании какую-то, говорят, весьма дельную и славную записку о неправильности взимания и распределения и расходов земских повинностей. Все дворянство одобрило содержание записки и положило — раздать копии по уездам, чтобы подробнее обсудить предложенные меры. На другой день, когда копии были розданы, губернский предводитель пришел их отбирать, ссылаясь на приказание, будто бы, государя. Начались споры, и, наконец, копии опять возвратили, одним словом, вышла преглупая и пренеприличная история, и все это оттого, что распоряжающееся начальство само не знает, что можно и чего допустить нельзя, и компрометирует себя совершенно напрасно. В заключение генерал-губернатор, закрывая собрание, в речи к дворянству как-то, говорят, весьма неприлично сделал замечание дворянству, что оно судило и занималось вопросами, до него не касающимися. Разумеется, никто не возражал, и вся глупая история не имела никаких последствий, но зачем же делать совершенно напрасные промахи и глупости?

Еще одно происшествие делает теперь много шума. В Нижегородской губернии крестьяне г-на Рахманова проданы были помещиком г-ну Полякову. Когда стали сего последнего вводить во владение, то крестьяне объявили, что

они не могли быть проданы, потому что помещик клялся им, что их не продаст, а они говорят, что крестьяне даже внесли Рахманову деньги, чтобы он их не продавал. Не приступая вовсе к каким-нибудь беспорядкам, крестьяне объявили, что будут продолжать платить оброк и что пошлют к барину ходоков; началось дело, завязалась переписка, а между тем Поляков в Петербурге объявил жандармам, что его крестьяне бунтуют и не признают его. Государь послал флигель-адъютанта Эльстона для усмирения этого небывалого бунта. Тот, прискакав на место, ничего хорошенько не разобрав, стал пороть и порол до тех пор, пока все <не> закричали, что они принадлежат Полякову, тогда Эльстон захватил 12 человек, которых считал, неизвестно почему, виновнее других, — так как он следствия не производил, то и знать этого не мог. Захваченных людей привез в город, посадил в острог и написал губернатору, что таких-то сослать в Сибирь, а таких-то — в арестантские роты, а сам уехал. Прибыв в Петербург героем, донес, что он бунт усмирил, получил от государя благодарность и Владимира на шею. Между тем губернатор вошел к министру внутренних дел с представлением, что по закону определить в ссылку более 9-ти человек может только Сенат, а потому — что делать с распоряжением флигель-адъютанта. Государь приказал передать все дело в Сенат, а дела, оказывается, никакого и нет, и все распоряжение Эльстона не только незаконно, но и совершенно не нужно, ибо, в сущности, бунта никакого и не было. Не знаю, чем Сенат все это кончит. Вероятно, граф Панин придумает какой-нибудь подлый исход. Но, как бы то ни было, общество сильно негодует на жестокость Эльстона, и его бранят везде. Этот урок принесет пользу и заставит господ флигель-адъютантов хотя бы чего-нибудь опасаться. Эта манера рассылать флигель-адъютантов и употреблять их в делах, в которых они ровно ничего не понимают, производит много вреда. Нарушение всякого законного порядка в делах, не выходящих из круга обыкновенных, парализует окончательно власть местного управления. Привычка действовать во всем мимо установленных законом учреждений обличает недоверие к ним, а между тем ничего не делается, чтобы улучшить эти учреждения. Каждая посылка флигель-адъютанта есть отмена половины действующих законов, так что можно сказать, что флигель- или генерал-адъютант есть не что иное, как анархия в аксельбантах. Разумеется, все это делается по неведению. Государю так мало и смутно знакомы наши местные учреждения и их обязанности, что он почти не признает их существования и не считает возможным иными путями узнавать правду или действовать. Между тем эти гг. флигель- и генерал-адъютанты так мало подготовлены к возлагаемым на них обязанностям, что невольно на каждом шагу делают промахи и вздор. Во всем виновны те лица, которые при докладах не объясняют все последствия и значение подобных распоряжений. Во Владимирскую губернию, где также произошло какое-то недоразумение между крестьянами, послан был флигель-адъютант Столыпин. Этот, напротив, повел дело совершенно иначе, обвинил кругом помещика и дворянских предводителей, и, по его донесению, также без суда и следствия, сделано распоряжение. В Пензенскую губернию, тоже по какому-то нелепому доносу, послали флигель-адъютанта Потапова, который и теперь еще там и, как слыш-



но, не может никак отыскать, где бунтуют, никто из местных властей об этом ничего не знает. Все это доказывает, что наши правители находятся под каким-то безотчетным страхом и думают посредством командированных адъютантов предупреждать волнения. Этот страх главным образом происходит оттого, что много толкуют об эмансипации, а учрежденный для этого вопроса Комитет ничего придумать не может, да и не хочет. Государь опять повторил представлявшимся ему предводителям ту же фразу, которую сказал в прошедшем году, а именно, что он желает, чтобы разрешение этого вопроса последовало бы сверху, а не снизу. Неопределенность этих слов ставит всех в тупик и обличает отсутствие ясного сознания. Я давно уже не видал князя Долгорукова и не знаю хорошенько, что делается в этом Комитете, да, признаюсь, и знать об этом не любопытен, ибо заранее уверен, что никакого толку из всего этого не выйдет. Сюда приезжали почти все представители лучших проектов, как то: Самарин, Киселев, Тарновский и др., все они имели свидание с Ланским, Долгоруковым и др., и все они уехали, махнув рукой, с полным убеждением, что проповедуют в пустыне. К действительному участию в разработке вопроса они не приглашены, несмотря на то что Долгоруков уверял меня, вследствие поданной моей записки, о которой я говорил выше, что это непременно так будет. Эти господа консерваторы берут на себя сильную ответственность перед потомством. *Qui vivera — verga!*\*

**23-го марта.** Теперь все правительственные головы заняты и озабочены страшным состоянием наших финансов и постоянным ежегодным дефицитом в 70 миллионов. Обыкновенно эта финансовая паника овладевает нашими финансовыми людьми вследствие какой-нибудь записки; так, в прошлом году Тенгоборгский подавал записку, которая несколько недель наделала много шума, а потом перестали говорить и ухлопали 9 миллионов рублей на коронацию. Так и теперь поданная Гурьевым записка произвела всю эту тревогу, но на этот раз за это дело горячо принялся князь Горчаков — министр иностранных дел, и, кажется, он решился сильно говорить государю о необходимости сокращения расходов и улучшения наших финансов.

Об этой панике узнал я от князя Горчакова — наместника Царства Польского, недавно сюда прибывшего. Он долго, с жаром доказывал мне о необходимости убавить наполовину расходы на флот. На другой день был у меня военный министр Сухозанет и тоже сильно убеждал меня сократить нашу смету и утверждал, что и он будет сокращать, и министр двора тоже должен будет сократить. Я прямо сказал и Сухозанету, и Горчакову, что не в смете сила, смета есть бумага, она все терпит, пожалуй, ее можно переписать и убавить, сколько угодно, вся сила в возможности безотчетно приказывать производить расходы, лучше бы они об этом подумали. Министр двора, пожалуй, убавит свою смету, а вдруг императрица решит отправиться на л у н у и поедет, и деньги ей дадут, вот вам и смета. Точно так же и в нашем управлении, пожалуй, смету убавят, а расходы будут делаться по высочайшему пове-

---

\* Поживем — увидим!

1857 год

лению, и мы под конец года донесем, что у нас дефицит, и Казначейство обязано будет его пополнить. Как бы то ни было, из слов и Горчакова, и Сухозанета я понял, что на смету Морского министерства, хотя она уже утверждена и мы по ней действуем, будут нападки. Я решился довести это до сведения великого князя и в письме Головнину подробно рассказал, в чем дело. При этом я объяснил, что готов защищать перед кем угодно, что при настоящем составе флота не только невозможно сократить смету, но еще вряд ли мы обойдемся без передержки. Но, разбирая вопрос с другой точки зрения, нельзя не согласиться, что весь парусный наш флот никуда не годится и держать его — значит даром бросать деньги. Нам нужно создать флот паровой, а поправлять старый невозможно; по мере постройки судов можно прибавлять и команды, а держать три дивизии, в то время как годных судов не наберется и на одну дивизию, есть вздор. Вчера я узнал, что тот же курьер, который провез мое письмо, повез также письмо князя Горчакова, министра, к великому князю, в котором он, говорят, весьма сильно изображает картину нашего финансового неустройства и умоляет согласиться на сокращение флота. Говорят, это письмо было читано и одобрено государем. Любопытно, что из этого выйдет.

**6-го апреля.** Сегодня получил я письмо от Головнина, в котором он извещает, что вместе с письмом моим получил он приказание сократить смету и что великий князь согласился на героические средства, приказав остановить в нынешнем году вооружение всех парусных судов в Средиземном море. Кроме сего, приказал сделать соображение о расформировании всех экипажей, к которым не приписаны винтовые суда, что составляет более половины флота. Кроме сего, великий князь отказывается от своего содержания по званию управляющего министерством, приказал убавить расходы по своему дому и продать лошадей и проч. и проч. ... Видно, действительно, письмо Горчакова было сильно написано и произвело сильный эффект. Итак, желание мое тоже осуществляется, более чем я предполагал. Но ломка у нас пойдет во флоте страшная и неудовольствий, конечно, будет много. Великий князь думает, что вследствие отданных им приказаний смета сократится на 5 миллионов. Я не думаю, чтобы в нынешнем году мы могли бы представить и половину этой суммы, ибо все заготовления уже сделаны и четверть года уже прошла. Князь Михаил Дмитриевич изумлен был, когда я объявил ему эту новость. Сегодня, или, лучше сказать, завтра, на заутрене во дворце, вероятно, что-нибудь еще узнаю.

**7-го апреля.** Сегодня, по случаю светлого праздника, никаких особенных наград и новостей не было. Только объявлено назначение Катенина оренбургским военным генерал-губернатором. Сегодня я узнал, что нападки на Брока до того усилились, что он решился у государя просить увольнения, но его удерживают за неимением лучшего, и действительно, в этой среде, в которой ищут, не найдут министра финансов. Как не обратиться, наконец, к людям специальным, на практике уже доказавшим свое знание в финансовых оборотах! Говорят, предлагали Меншикову — вот нашли министра финансов... Я забыл, кажется, упомянуть о смерти Тенгоборгского, перешедшего на днях в вечность, к величай-

шей радости московских фабрикантов, которых он уничтожил тарифом, и к немалому удовольствию, кажется, большинства русских людей.

**12-го апреля.** Я теперь очень занят составлением расчетов по случаю сокращения флота. К 17-му апреля обещают много новостей. Между прочим, положительно верно, что Михаил Николаевич Муравьев делается министром государственных имуществ вместо Шереметева, с сохранением Департамента уделов и Межевой канцелярии. Итак, этот господин, которому до сих пор не хотели поручать ни одного министерства, разом делается главным начальником целых 3-х управлений. Непонятно, как могло совершиться это назначение. Киселев, уезжая, просил только об одном государя, чтобы Муравьев не был назначен на его место, и государь не только согласился, но и высказал, говорят, свое невыгодное мнение о Муравьеве. Назначение это осуждается многими, хотя я мало с ним знаком, но так же чувствую к нему неприязненное чувство. Не думаю, чтобы он сделал что-нибудь полезное, хотя ломка старого управления будет, вероятно, большая. Мне жаль Хрущова, который, вероятно, не останется товарищем министра. Страшный холод стоит на дворе, весна обратилась в зиму, хотя снег весь сошел и реки прошли. Это может иметь самое губительное влияние на урожай. Сохрани Бог.

**19-го апреля.** Из обещанных к 17-му числу новостей оправдалось только назначение Муравьева и назначение Васильчикова директором Канцелярии военного министра. Ему предлагали быть товарищем министра, но он отказался. Впрочем, все, кажется, остаются при своих местах. На сих днях Муравьев пригласил к себе Хрущова и объявил ему о своем назначении, причем также весьма положительно сказал, что он всегда находил и теперь находит систему управления государственными имуществами совершенно ложною, а потому будет всеми силами стараться изменить ее и принять начало управления Удельным ведомством. Хрущов после этих слов объявил, что в таком случае он не может оставаться товарищем министра, ибо совершенно не согласен с ним в основных убеждениях, а потому просит довести до сведения государя причину, по которой он не желает более занимать место. Весь разговор, который по сему случаю происходил, был передан самим Хрущовым несколько дней спустя государю, который принял Хрущова с последним докладом весьма милостиво и вполне оценил благородный поступок Хрущова. Новая программа действий Муравьева есть совершенный пух, и я уверен, что никаких существенных перемен в управлении Государственных имуществ не последует и дело все кончится тем, что Муравьев начнет переменять личности, назначая на места людей, ему близких и ничем не отличающихся от тех, которых сместил. Система эта, какая бы она ни была, утверждена верховною властью вследствие долгих прений и рассуждений. Теперь является один человек, который случайно делается министром, и говорит, что эта система ему не нравится и он хочет ее переменить. Все это как-то очень дико, и по всему видно, что не только обстоятельства, но и личности сильно начинают путаться. Для обсуждения финансовых мер учрежден еще новый Комитет, но не думаю, чтобы это

помогло. Князь Горчаков-Варшавский — сидит в этом Комитете и поражен, до какой степени наши сановники не привыкли и не умеют серьезно заниматься делом. Их равнодушие ко всему его удивляет, и он сам хотя горячится, но тоже из этого немного будет проку.

Великий князь вчера приехал в Париж, где для него изготовят ряд празднеств. Известия, получаемые им из России, быть может, настроят его на веселье, он не может не чувствовать, что пребывание его здесь могло бы быть теперь весьма полезно. Об этом ему, кажется, со всех сторон пишут.

Не только Морское ведомство, но и другие ждут его возвращения с нетерпением, от него ожидают нового, хорошего, энергического влияния. Не знаю, оправдает ли он эти ожидания. Ежели при его способностях и энергии он был <бы> достаточно подготовленным общим образованием к делу, много бы он мог принести теперь пользы. Но, к несчастью, кроме незнания, есть много других причин, препятствующих ему иметь влияние, которое он мог бы иметь. Дай Бог, чтобы неуместность его теперешнего путешествия оправдалась бы по крайней мере пользой и чтобы изучение или даже беглый взгляд на порядок и правильное устройство управления в других государствах уяснило бы его взгляд на вещи. С уменьшением флота круг деятельности его уменьшится, а потому ему будет более досуга заняться общими вопросами, касающимися до целого государства. Но для того, чтобы влияние его приносило пользу, необходимо, чтобы оно было постоянно, а для этого нужно много такта и умения обращаться с людьми, а этого у него нет. Порывами он готов на всякое дело, а постоянной, продолжительной деятельности и стремления к определенной цели я от него не ожидаю. Вся надежда на его действительно замечательные способности и хорошие начала, может быть, со временем при благоприятной обстановке из него выработается человек. Дай Бог.

**22-го апреля.** Носятся слухи, что Комитет, занимающийся вопросом крепостного права, готовит проект какой-то меры. Наперед можно сказать, что эта мера будет ни то ни се, в какой степени она подвинет вопрос — неизвестно, ибо при настоящем настроении умов нельзя определить заранее последствий каких-либо распоряжений правительства. Мы пришли к такому положению, что по необходимости разом поднимается множество важнейших вопросов и отложить разрешение их невозможно, а, между прочим, при настоящей обстановке всего правительственного организма нельзя предположить, чтобы правительство могло действовать разумно и последовательно. Уменьшение армии и флота, вынужденное расстройством финансов, оставляет без дела множество недозвольных офицеров и чиновников и увеличивает число бездомных отставных солдат и бессрочно отпусковых. Все это увеличивает опасения за общественное спокойствие в случае каких-либо неудачных мер, а, между прочим, бездействие правительства также может вызвать неудовольствие и беспорядки. Как все это разыграется, одному Богу известно.

Двор переехал в Царское Село. Императрица должна на днях родить и не скрывает своего предчувствия, преследующего ее, говорят, со дня коронации, во время которой корона упала с головы ее, она во время всей беременности

была более обыкновенного слаба и теперь ожидает родов с большим страхом. Для нее выписан из Мюнхена акушер, которому платят баснословные деньги, как будто в России нельзя найти порядочного акушера. Сохрани Бог, если предчувствие императрицы сбудется, это будет величайшее бедствие, хотя она, по видимому, не имеет никакого особенного положительного влияния, но, не менее того, присутствие ее приносит положительную пользу тем, что удерживает от многих глупостей и разврата. Без нее женские интриги будут играть весьма важную и пагубную роль. Княжна Долгорукая — фрейлина — пользуется и теперь особенным вниманием царя, но до сих пор это ограничивается более или менее платонической любовью. Отношения эти, без сомнения, изменятся, ежели императрицы не станет, и тогда откроется обширное поприще всякой мерзости и дряни. Страшно подумать, что тогда будет.

**25-го мая.** Изъявленные мною опасения, к счастью, не оправдались, императрица благополучно родила в начале этого месяца, и все обстоит благополучно. Я ездил в Москву, провожал жену и детей и вернулся в Петербург один. Жена поехала в Оренбург на кумыс. В Москве нельзя не заметить некоторого движения, ежели не в обществе, то по крайней мере в литературном мире. Ослабление цензуры оживило деятельность ученых и литераторов. Явилась новая еженедельная газета «Молва» — орган славянофилов — и началась сильная полемика, выходящая, впрочем, даже из границ пристойности, между двумя враждебными направлениями: западным, органом которого «Русский вестник», и восточным, органом которого «Русская беседа». Как бы то ни было, не только университет, но и общество до некоторой степени принимает участие в этой полемике. В Петербурге, напротив того, с приближением лета еще более становится мертво. В Государственном совете рассмотрен новый тариф и прошел, как говорят, без изменений, ко вреду нашей внутренней промышленности. Один из депутатов московского купечества, вызванный в Петербург для дачи отзыва о новом тарифе, был глубоко убежден, что вернее всего защищать интересы промышленности деньгами, послал одному из производителей в Государственный совет взятку, за что был схвачен и посажен в III Отделение.

Великого князя ожидают в первых числах июня. По газетам судя, его очень хорошо приняли во Франции, и он, говорят, поражает всех своими способностями, знанием и деятельностью. Хотя он вовсе не намерен был ехать в Англию и хотя все путешествие во Францию было предпринято отчасти сделать аттенцию<sup>32</sup> французам, но, несмотря на это, он теперь в Англии, королева прислала его звать, и наши политики не могли отказать. В Москве, да и вообще везде, очень недовольны этой уступкой. Хотя и объясняют наши дипломаты, что будто бы великий князь делает только вежливость королеве как женщине, а что в Лондоне он не будет и английского флота не увидит, но все это не может быть принято с уважением русскими, которые не могут делать различия между королевой и Англией, а после тех мерзостей, которые англичане делали в последнюю войну и даже после окончания оной, всякий знак особой к ним приязни может быть лишь оказан в ущерб достоинству России. Удивительно, до какой степени дипломатическая фразеология затемняет всякое, и

самое естественное, справедливое чувство. Я слышал князя Горчакова — министра иностранных дел, самыми цветистыми французскими фразами доказывающего, почему следовало великому князю сделать вежливость королеве английской. Фразы убивают в этих господах и совесть, и стыд, и всякий такт. Кроме того, они смотрят на всякий вопрос только с одной стороны, а именно: какой эффект произведет такое-то действие в Европе, но им даже на ум не приходит озаботиться или сообразить, как отзовется или поймется это действие в России. Поэтому наша дипломатия представляет нечто совершенно особенное, отрешенное от всякого соприкосновения с внутренним бытом государства. Она защищает большей частью какие-то отвлеченные интересы государства и, наоборот, жертвует почти всегда материальными его интересами в пользу какого-нибудь самого беспощадного принципа. Поэтому никого, например, не поражает откровенное признание министра иностранных дел, которое он делает иногда публично в обществе, и повторенное им несколько раз государю, что он, живя за границей, не имел случая ознакомиться подробно с внутренним управлением России и ее учреждениями и проч. и проч. ... Все это находят весьма естественным и не сомневаются, что Горчаков, не имея понятия о России, может быть прекрасным министром иностранных дел. Но спрашивается, возможен ли подобный факт где-нибудь, кроме России? Могли, например, быть терпим в Англии министр иностранных дел, который бы не знал Англии, или во Франции министр, незнакомый с Францией? Решился ли бы он в этом сознаться, не изъявив вместе с тем желания изучить ее? О, Боже мой, сколько нужно еще времени и какой страшный должен последовать переворот, чтобы заставить нас смотреть на вещи простыми глазами, а не сквозь призму французской фразеологии. Тот же Горчаков, сознающийся в совершенном незнании России и не желающий изучить ее, при мне называл себя великим патриотом — да какой черт в этом отвлеченном патриотизме? Надо заметить, что Горчаков в высшей степени честолюбив и при всяком случае рисуется своими достоинствами. Поэтому ежели бы он считал предосудительным не знать России, то он в этом бы, конечно, не сознался.

Немедленно по возвращении великого князя отправляются за границу государь, государыня, Михаил Николаевич и несколько царских детей; все это едет для сопровождения императрицы, которой будто бы необходимы воды. Это выдумал доктор, выписанный нарочно из неметчины. Вот тебе и экономия... Вот тебе и сокращение смет... Как согласовать эти противоположности, как объяснить подобные факты? Какое странное отвлечение интересов частных от общих, и это отвлечение делается бессознательно. Государство терпит крайнюю нужду в деньгах, банкротство висит на носу, и это не стесняет и не ограничивает издержек для собственных прихотей. Ежели бы государь сознавал единство своих интересов с интересами, общими всему государству, то, по природной своей доброте, он остановился бы и умерил бы расходы двора, простое чувство совести заставило бы его это сделать. Но нет, он просто не видит этой связи. Сокращают войско, уменьшают флот, останавливают все нужные государственные работы и в то же время строят новый дворец для Михаила Николаевича, когда два дворца, Аничков и Таврический,

стоят пустыми, строят в Гатчине великолепную псарню, едут за границу и живут там с 4-мя дворами в разных местах. Что это за страшное ослепление... К чему оно нас приведет — одному Богу известно... Все дела теперь приостановились — только и толкуют о путешествии, «патриот» Горчаков также едет с царем, поэтому надо думать, что с этим путешествием сопряжены какие-нибудь политические цели. Но я им не верю. Не в таком мы сейчас положении, чтобы могли командовать, и словесные переговоры ни к чему не приведут. В газетах говорят о свидании с Наполеоном. К чему оно? И, во всяком случае, к добру не поведет, его не перехитришь... Относительно внутреннего управления — тот же застой и та же неподвижность. Странное дело, внутри государство, видимо, пробудилось, война разбудила сознание, ослабленный гнет обличает движение умов, в литературе и в обществе заметно стремление к деятельности, а правительство по-прежнему, или, может быть, более прежнего, спит непробудным сном, точно как будто бы все замерло, и не видишь исхода этому состоянию. Бездна надежное чувство овладевает мною, и будущее представляется в самом жалком виде. Сохрани нас, Господь, от той пропасти, к которой мы стремимся.

**5-го июня.** На прошлой неделе в пятницу, т. е. 31-го мая, вечером, воротясь из Комитета, учрежденного при Военном министерстве по вопросу о школах для солдатских детей, в котором я членом, нашел я у себя телеграфическую депешу из Киля от контр-адмирала Глазенапа, который уведомляет Милютину, что великий князь накануне вечером на пароходе «Рюрик» ушел и приказал прислать директора Инспекторского департамента Краббе и меня к себе навстречу, на высоту Свеаборга. Вследствие этого приказания мы с Краббе на другой день отправились из Кронштадта на пароходе «Смелый» и в воскресенье, 1-го июня, встретили великого князя на указанном месте. Я заранее чувствовал цель, для которой был призван: великому князю хотелось, прибывая в Петербург, уже знать некоторые подробности о том, что там делается и что в отсутствие его делалось. Я вовсе не был приготовлен к подобному экзамену, ибо за последнее время не следил за общим ходом дел, да и никого не видал, от кого бы мог получить достоверные сведения.

Великий князь принял нас, по обыкновению, весьма мило и ласково. Наши вещи перенесли на «Рюрик», и мы пошли в Кронштадт. Едва успел я переменить форму, т. е. из парадной надеть сюртук, как меня позвал великий князь и стал расспрашивать обо всем, я передавал ему все, что знал. Он сказал мне, что, судя по письмам моим и Головнина, полученным за границею, ему представлялись дела наши в каком-то безотрадном свете. Я объяснил ему, что это действительно так и есть и что воображение его не обманывает.

Воротясь из стран, где был свидетелем кипящей деятельности и жизни, он, конечно, не мог быть не поражен, когда на всякий почти его вопрос о том, что делается по такой-то части, я должен был отвечать, что или ничего не делается, или делается ничтожный вздор. Мы заговорили о морской части. Он сказал мне, что горько ему было соглашаться на уменьшение флота и что он смотрел на это как на самоубийство. Я заметил ему, что флот отдельно от

других частей государства усовершенствоваться не может и что пока не будет порядка в управлении России, нельзя ожидать, чтобы флот существовал в том виде, в каком ему быть должно. Я указал ему на пример Франции, от успехов которой в морском деле он находится в изумлении, — с устройством вообще администрации улучшается у нее флот. Я намекал великому князю, что ему следовало бы вообще заняться общим делом, а флот придет сам собою. На эти слова он не возражал, видно было, что он далеко не уверен ни в своей власти, ни в пользе своего вмешательства в данное положение. По поводу предполагавшегося путешествия по России я сказал ему, что в народе говорят, будто бы распространился слух, что он поедет объявлять им волюную. По всей вероятности, путешествие по Франции великого князя не останется без пользы: он видел близко, как работают и как знают дело свое люди, которым вверено управление. Он сказал мне, что в особенности удивлен не тем силам, которыми Франция располагает на море в настоящую минуту, но тем, что она может выставить в случае надобности, — даже во всех самых малых портах, которые мы прежде считали ничтожными, огромнейшие склады запасов, заводы, верфи и проч. ... «Каждый из самых малых портов в пять раз обширнее Кронштадта, — сказал он, — и более снабжен всем необходимым для постройки и снабжения судов. Насмотревшись на эти богатства и огромные средства, действительно можно было впасть в отчаяние при виде Кронштадта с его пустыми магазинами, мелкою гаванью и ничтожными верфями». Несмотря на все это, великий князь, кажется, в хорошем расположении духа, хотя, видимо, устал от постоянных церемоний, представлений, обедов и проч. ... Весь вечер мы пели песни под звуки фортепьяно, а на другой день занялись после завтрака делом. Я прочел великому князю свои заключения на проект учреждения Морского министерства. В замечаниях этих я довольно резко и с особенною силою нападаю на мысль основную проекта и вообще на должность генерал-адмирала. Он возражал мне весьма основательно, и видно, что мысль проекта в нем совершенно созрела. Он объяснял мне, почему считает для флота у нас совершенно необходимой должность генерал-адмирала. Он убежден, что еще долго цари наши будут люди военные и в отношении этом специалисты. Отсюда он выводит необходимость иметь во флоте начальника с почти царскими правами. Вообще он говорил очень долго, основательно и умно. Со многими из моих предположений согласился. Его поразила ничтожность всех замечаний на проект, доставленных министрами и другими магнатами. Действительно, я прочитал все эти замечания: по ним можно судить о степени неспособности этих господ. Ежели бы задать ученикам в гимназии написать замечания, они бы это сделали толковее и дельнее. Граф Панин в особенности отличился. В проекте предположено генерал-адмиралу представлять ежегодно отчет государю через Государственный совет. И это делается, как сказано в объяснительной записке, с целью ограждать от безотчетности и произвола главных начальников, над действиями коих у нас не существует настоящего контроля. На это граф Панин возражает, что произвола главных начальников быть не может, а содержание отчетов, предел власти министров и порядок их ответственности подробно определены в



учреждении министров. Независимо от сего учреждено особенное, весьма подробное наблюдение за исполнением предписанных мер посредством в с е п о д д а н н е й ш и х в е д о м с т в. Каково возражение... Каков взгляд министра юстиции... Я заметил великому князю, что большинство лиц, возражающих против рассмотрения отчетов в Совете, думают ему этим угодить, а потому пишут из подлости, а Суковкин — управляющий делами Комитета министров, следовательно, занимающий одну из самых важных должностей в государстве, прямо начистоту ответил, что он суждения никакого иметь не может, а остается в полном убеждении, что проект, будучи составлен под наблюдением великого князя, не может не соответствовать видам и намерениям правительства. Вот какого рода отзывы подаются письменно на проект, который можно было бы обдумать и изучить. Что же можно ожидать от сих господ при изустном обсуждении дела, которое докладывается в Государственном совете?

Навстречу великому князю в Кронштадт никто из царской фамилии не выехал. Братья — Николай и Михаил — были оба в Петергофе и не сочли приличным выехать навстречу старшему брату, а прислали только по телеграфу спросить, где его можно видеть. Такое забвение приличий могло бы быть знаменательным, ежели бы не уверенность, что оно происходит от невнимательности к своим поступкам и от неуважения к мнению общества. Царь, впрочем, приезжал в Петербург на пристань, но, не дождавшись приезда великого князя, вернулся обедать в Царское Село, куда приказал звать великого князя.

На сих днях царь с царицей и детьми уезжает за границу, и великий князь остается председателем Правительственного совета<sup>33</sup>, состоящего из Орлова, Блудова и Сухозанета. Но важных дел в этом совете не будет обсуждаться, и, вообще, управление, ежели только это возможно, еще более заглохнет. Мало узнал я еще подробностей и анекдотов о пребывании великого князя за границей, и в особенности в Париже, и когда узнаю, запишу.

**16-го июня.** Перед отъездом за границу царь согласился на меру, на которую до сих пор тщетно его старались склонить, а именно на уменьшение гвардии. Говорят, это уменьшение будет довольно значительно.

Чтобы понять всю важность этой уступки со стороны царя, надо знать, как он и все члены царской фамилии смотрят на гвардию. Она, в глазах их, имеет значение единственной охраны и надежнейшего оплота власти. Это странное ослепление, или, лучше сказать, оболъщение, особенно сильно было заметно в покойном государе. Он верил и хотел верить, что силен своею гвардией. Поэтому решился в своем завещании сказать сии неловкие слова: «Гвардия спасла Россию в 1825-м году». Какое странное невнимание к событиям... От кого же гвардия спасла Россию в 1825-м году..? От гвардии же, потому что одна гвардия бунтовала на площади, а народ почти не принимал никакого участия. Как бы то ни было, решение государя относительно убавки гвардии нельзя не признать явлением утешительным, лишь бы только при исполнении сей меры не последовало каких-либо распоряжений, уничтожающих всю пользу предполагаемого уменьшения.

1857 год

Великий князь остался теперь председателем Правительственного комитета, но это не мешает ему жить большею частью в Кронштадте. По-видимому, он решительно не намерен ничем заниматься, кроме флота. Быть может, он не верит ни в пользу, ни в силу своего влияния, но несомненно и то, что он не умеет и по характеру своему не может поставить себя в то положение, при котором он мог бы получить значение. Различие в характерах и вкусах, несходство в понятиях, видимо, мешает двум братьям быть в тех отношениях, как бы им для блага России быть следовало. Это очень жаль. Холодность в отношениях их может, при удобном случае, в особенности при содействии людей, всегда готовых на мерзость, превратиться во вражду, и тогда это будет великим для России бедствием. Сохрани Бог. В особенности опасуюсь я бабьих сплетен. Великая княгиня Александра Иосифовна, по причине своего сумасшедшего характера, в явной вражде с императрицей и Марией Николаевной. Она наделает много вреда еще, я это предчувствую. Уже и теперь влияние ее на великого князя самое бедственное. Удивительно, право, как Провидение окружает у нас всякого способного человека такими обстоятельствами, которые превращают ни во что все его способности и достоинства.

**12-го сентября.** Давно я не писал ничего в этой книге, потому что был в разъездах. 16-го июня меня призвал великий князь и объявил, что командирует на следствие в Николаев, где, по доносу Бутакова, заведующего там морской частью, открылись будто бы большие злоупотребления по интендантству. Из донесений Бутакова явно было видно, что он писал сгоряча и под влиянием разных личностей. Бутаков требовал разных уполномочий, чтобы действовать, не стесняясь законом. Великий князь, также сгоряча, требовал от меня, чтобы я, не стесняясь формой, отправился бы истреблять мошенников, но я, предчувствуя и видя из самих донесений, что заводимые Бутаковым на разных лиц обвинения — совершенный вздор, настоятельно доказывал великому князю, что действовать сгоряча и произвольно в таких делах невозможно и что я как юрист никогда на это не соглашусь. Бывший по этому случаю разговор очень замечателен. За отсутствием государя, высочайшее повеление о командировке меня, жандармского полковника и чиновника от новороссийского генерал-губернатора объявлено правительственной комиссией, причем Блудов не мог не сделать величайшей глупости, посоветовав теперь же посадить всех прикосновенных, не обозначив, кого именно, и описать их имущество. Обе эти меры, совершенно ненужные и незаконные, еще больше запутали дело. Я поехал с полным намерением действовать независимо от всяких влияний и произвести следствие по всем правилам науки. В чем состояло дело и как производил следствие, об этом писать некогда теперь, а для памяти я сохранил некоторые бумаги, объясняющие всю трудность добиться толку от людей, не имеющих никакого понятия о том, что такое закон и право. Я прожил в Николаеве почти полтора месяца, работал, как вол, но не чувствовал усталости, потому что был под влиянием восхитительного климата. Из Николаева я ездил в Севастополь и на южный берег. Севастополь произвел на меня необыкновенное впечатление. Груды камней свидетельствуют, что тут был город

и что он пал, окровавленный кровью сотен людей. Остатки бастионов, лагерей и проч. еще живо напоминают обо всем и живо говорят воображению. Много сильных ощущений имел я там, в Севастополе, они не изгладятся из моей памяти, и я когда-нибудь на досуге запишу их. По возвращении из Николаева, в половине августа, я застал уже жену в Москве, возвратившуюся из Оренбурга, где пила кумыс и, благодаря Богу, оправилась. В Петербурге принят я был хорошо и представил дело в настоящем его виде. Вследствие моих донесений посылается в Николаев военно-судная комиссия, которая, конечно, оправдает многих, совершенно напрасно обвиненных. Государь опять уехал за границу и перед отъездом утвердил журнал Комитета об эмансипации<sup>34</sup>, которым сильно этот вопрос двинут вперед. Теперь готовят проекты указов, которыми, с одной стороны, будут приглашены помещики вступать в обязательства со своими крестьянами, не стесняясь условиями, указанными в законах об обязанных крестьянах, а с другой — рядом ограничительных мер будут помещики к этому понуждены. Вообще это дело принимает, кажется, весьма серьезное направление. Что из этого выйдет — одному Богу известно. Мудрено предположить, чтобы все обошлось благополучно, а также нельзя думать, чтобы завязалась какая-нибудь серьезная кутерьма. Раскольнический вопрос также серьезно поднят в весьма либеральном смысле. Это также вопрос капитальный и вечевой.

Несмотря на интерес, возбуждаемый сими делами, я, прельщенный чудным климатом Крыма, решил ехать на зиму за границу с женой и старшими детьми и получил не только отпуск на шесть месяцев, но уже и паспорт у меня в кармане. Завтра еду в Москву, оттуда на несколько дней в деревню, а потом в Варшаву, откуда прямо в Париж, а на зиму, вероятно, в Ниццу. Впрочем, это еще не верно. Ежели лень меня не одолеет, то намерен продолжать дневник за границей, только в другой тетради, чтобы не таскать эту книгу с собой.

## 1858 год

**26-го июля.** Вот уже скоро год, как я ничего не писал в этой тетради. Я не брал ее за границу, а в течение этого времени совершилось так много замечательного, что пересказать, даже вкратце, все события очень трудно. Я выехал из России в начале октября прошедшего года из Варшавы, через Бреславль, Дрезден в Баден, где пробыл 2 дня для свидания с великой княгиней Еленой Павловной, а потом через Страсбург отправился в Париж и там жил 2 недели. В это время успел только поверхностно ознакомиться с городом и заняться немного судебной частью, думая на обратном пути пожить здесь подольше. Из Парижа через Марсель отправились мы в Ниццу, где думали расположиться на зимней квартире, но, пробыв 2 недели, решили отправиться зимовать в Рим. Там поселились вместе с графиней Протасовой. В конце января я нечаянно собрался в Иерусалим вместе с генералом Исаковым, старинным моим приятелем. Мы выехали с ним накануне карнавала сухим путем в Неаполь, там сели на пароход и отправились через Мессину в Мальту, в Александрию, а оттуда в Яффу и потом верхом в Иерусалим. Подробности пребывания мое-